

*Михаил Румер-Зараев*

## Исчезнувший мир

*Документальная повесть*

Недавно Володька, пьяно матерящийся на нашей деревенской улице, в ответ на мое замечание, словно бы протрезвев, зло сказал: «А кто ты такой, чтобы мне замечания делать? Ну, посмотри на себя. Обыкновенный старый хрен».

И я увидел себя со стороны: выношенная телогреечка, резиновые сапоги, седые давно нестриженные вихры из-под кепаря, трехдневная щетина. Наверное, прав мой пьяный сосед: обыкновенный старый хрен. И то, что я пишу, — записки старого хрена.

### *Глава первая. Мартиролог*

**День был как день.** Проснулся, как всегда, на позднем осеннем рассвете в восьмом часу. Сунул ноги в чуни — в старые обрезанные валенки, накинул телогрейку и пошел в сарай за дровами. Принес связку расколотых березовых полешек, бросил на обшитую жостью площадку у печки, сложил полешки в топке шалашиком, подсунул в него сухую бересту и клочок газеты. Огонь взялся сразу, шалашик засветился, запылал, конфорки плиты начали раскаляться, так что и чайник вскоре закипел. Заварил чай покрепче, хотя при моих скачках давления это ни к чему, порезал колбасу, свежий еще (автолавка приезжала только вчера) батон, сел завтракать.

Ловлю себя на какой-то странной для моих прошлых лет нежной привязанности к предметам обихода, словно бы одушевлению их. Вот эти березовые полешки с курчавящейся берестой, аккуратно расколотые, хранящие, особенно когда занесешь их с холода, запах леса, ладно уложенные в печь и объятые светоносным огнем, дающие благостное тепло, наполняющее выстывший за ночь дом. Или те же чуни. Какую только обувь я не носил за свою долгую жизнь — и кирзачи с портянками в пору моей землемерной молодости, и изящные туфли западногерманской фирмы «Саламандер» в пору, когда был газетным начальником, — а вот эти обрезанные разношенные валенки, которые я ношу дома и которые своим теплом и уютom весь день согревают ногу, особенно милы мне.

---

*Румер-Зараев Михаил Залманович* — прозаик, публицист, постоянный автор «ДН». Долгие годы работал в российских газетах и журналах «Московская правда», «Сельская жизнь», «Огонёк», «Век». Автор книг: «Семейное поле», «По следам Смоленского архива», «Сошествие в ад», «Одиночество власти». В настоящее время живет в Берлине, где редактирует русскоязычную газету. Предыдущая публикация в «ДН» — «Сыновья Авраамовы. Еврейско-арабский симбиоз: столетия связей и противоречий» (2017, №12).

Как я понимаю степных язычников древности, которые клали знатным покойникам в курганную могилу оружие, одежду и всякие предметы быта, чтобы они продолжали служить им на том свете. Я бы тоже унес в иную жизнь, если она есть, эти чуни, эти березовые поленья, этот вкус хлеба с колбасой, запиваемый сладким крепким чаем, которым я завтракаю. Да и многое другое взял бы с собой — свинцовую рябь озера, что виднеется в моем окне, свежесть осеннего воздуха, перебиваемую горьковатым запахом дыма из труб топящихся соседских печей, хруст прошлогодней схваченной первым морозцем травы под ногой и многое другое, что, говоря высоким штилем, составляет сладостные детали земного бытия. Много ли мне осталось этого бытия? Кто ж знает. Пока надо благодарить Всевышнего за каждый прожитый год.

После завтрака сел за компьютер. Вчера случайно наткнулся на сайт со списком исчезнувших в новые времена московских предприятий. Он был составлен в эгегическом стиле кладбищенских мемориальных табличек: имя, год рождения, год смерти. В этом был некий библейский антропоморфизм, очеловечивание умерших заводов, уподобляемых автором дорогим ему покойникам. «Завод “Красный пролетарий”»: родился в 1857 году — убит в 2010 году». И все остальные так же. Именно убит, оставалось догадываться — погиб от руки злодеев.

Список убиенных предприятий оказался довольно длинный. Здесь был завод «Москвич», он же автозавод имени Ленинского комсомола, проживший восемьдесят лет и скончавшийся в 2010-м. И станкостроительный имени Орджоникидзе, и Второй часовой, и знаменитая «Трехгорка» — «Трехгорная мануфактура», самое старое, да и, пожалуй, не только в городе — в стране, предприятие, оно было основано в 1799 году, в год, когда родился Пушкин. ЗИЛ — завод имени Лихачева, самое крупное предприятие города (вместе со своей инфраструктурой оно занимало целый район, так и называвшийся — Автозаводский) доживало свои последние дни, скукожившись едва ли не до одного цеха.

Все это были предприятия, составлявшие, по заверениям средств пропаганды прошлого времени, славу советской индустрии. Их награждали, о них неустанно писали, на них советовали равняться другим заводам отрасли. Я, разумеется, знал их, За долгие годы работы в промышленном отделе городской газеты бывал там неоднократно. Это были хорошо знакомые мне миры, каждый со своей историей, легендами, страстями. Миры, открывавшиеся за проходной.

Почему они исчезли? Самый общий ответ был прост и очевиден: неконкурентоспособность их продукции с той, что выпускали и предлагали на открывшийся для нас рынок западные фирмы. Но это был банальный упрощенный ответ, ясный даже школьнику. История исчезновения каждого завода представляла собой долговременную драму, развертывавшуюся в судьбоносных для работавших там людей обстоятельствах и в какой-то мере запечатленную в разных интернет-сайтах, изучаемых мной с живым интересом.

Я давно был вне игры, чувствуя себя похороненным в этой глуши, Игра шла далеко, километров за сто пятьдесят от моей деревни, в городе, где я прожил долгую-долгую жизнь. И этот город снится мне и ночью, да и в дневные часы, когда я ненадолго засыпаю в своем покойном обитом вельветом кресле, которое я зову как Тургенев широкий диван в его кабинете в Спасском-Лутовинове — «самосон»: как приляжешь, обязательно заснешь.

**Во сне и наяву.** Снится, что сплю в своей московской квартире. Просыпаюсь: серая ночь, один, пусто, выхожу на улицу, иду по тропиночным изгибам меж домов на проспект. Пусто, ни машин, ни фонарей, все присыпано снежком, на котором никаких следов. И какой-то сумеречный неземной свет, так что видно все. Смертельная пустота. И вдруг понимаю: «Это же конец времен». Вот такой вещий сон.

Но бывает явь похожая на сон. Однажды в один из редких своих наездов в Москву

решил посмотреть дом, где некогда прожил тридцать лет. Поехал привычным маршрутом на метро, вышел на Дмитровской и зашагал так, как ходил изо дня в день — под мост, через дорогу, вниз с лестницы, мимо магазина, под арку двора. Ноги несли меня сами, все позабылось — смена квартиры, смерть Тани, переезд в деревню. Казалось, время пошло вспять, и я как обычно возвращаюсь с работы, сейчас поднимусь на третий этаж, открою ключом дверь, разделусь, включу телевизор, сяду ужинать...

Но, войдя под арку двора, я оцепенел: дома не было. Не было и все. На его месте лежал, зеленея травой, гладкий газон. Как это могло быть? Казалось, он стоял здесь еще минуту назад, я будто бы видел его стены, черную дыру подъезда с вечно распахнутой дверью, а потом дом мгновенно растаял, так что его присутствие казалось еще осязаемым в воздухе. Он словно реял, витал над зеленым газоном.

Мне казалось, что я сплю. Надо сделать усилие, проснуться, и все вернется на свои места, вся привычная жизнь. Но не просыпалось.

— А где дом? — спросил я слабым голосом у человека, пробежавшего мимо с мусорным ведром.

— Снесли, — равнодушно бросил он.

Разве можно снести целую жизнь, три десятилетия с их рожденьями и смертями, радостями и надеждами? Можно. И я не один такой стою, ощущая, как растворяется эта жизнь в воздухе над гладкой полоской травы.

Исчез не только дом моего обитания. Исчез завод, жизнью которого я жил в молодости. Исчезла газета, где я работал, в ее здании теперь какие-то другие современные учреждения, куда меня не пускают, исчезли, ушли на тот свет или затаились в своем стариковском нищенском доживании друзья, с которыми делил хлеб, мысли, надежды. Один я — старый хрен — живу воспоминаниями, приезжаю из своего деревенского далека, чтобы пройти по пепелищам прежней жизни.

**Фольклор пивного бара.** Предсмертные заводские истории вызывали у меня двойственное чувство. Я ощущал некую противоестественность существования этих миров с их бардаком и выматывающим напряжением, доводящим до инфарктов, до ранней смерти с трусливым самовластьем одних и тупой жертвенностью других; с партийными заклинаниями и сакральной фетишизацией плана; с авралами и качеством конечного продукта, за которое убивать надо. Но с другой стороны, это был мой мир и когда я варился в нем, будучи в многотиражке, и потом, вникая в его беды и драмы, работая в промышленном отделе городской газеты. Я жил в нем, знал его людей и тайные пружины их поступков, упиваясь этим знанием. Завод был частью моей жизни, и я любил и ненавидел его одновременно. И потому, разбирая эти гибельные заводские сюжеты, я уставал душой до изнеможения, до необходимости отодвинуть компьютер, перейти в свое кресло-самосон, откинуться на глубокую спинку, вытянув ноги, и закрыть глаза. Но и в наступающем полужабытии все виделся мне какой-нибудь «Красный пролетарий» с его полуторастолетней историей и страшной, какую только в детективном триллере придумаешь, смертью.

Были братья Бромлей, предприимчивые ганноверские выходцы, которые в середине позапрошлого века построили в Замоскоречье небольшую механическую мастерскую, выпуская всякий нужный в сельском хозяйстве железный товар — пилы, топоры, серпы. Их потомки превратили мастерскую в завод неподалеку от Донского монастыря, изготавливая паровые машины, станки для обработки снарядов, рассверливания пушечных стволов. А после революции — это уже станкостроительный завод, названный звонко и политически броско: «Красный пролетарий». Продукция его — универсальный токарно-винторезный станок, как будто бы слизанный с немецкого образца, называлась также призывно и звонко — ДИП: «догнать и перегнать». Кого? Наверное, капиталистический мир. Мы ведь вечно кого-нибудь догоняли и перегоняли. Чаще всего Америку — вечный наш ориентир. Какой-то в этом был

первобытный инфантилизм — в призывном хвастовстве лозунгов, в приверженности к красному цвету (Бунин в эмиграции издевательски спрашивал у московского гостя: «У меня на родине, в Ельце была артель — синьку производила, так что же она теперь называется “Красная синька”?») Но ведь и это тоже мое — родовое, наследственное. Отец в начале тридцатых, редактируя многотиражку шарикоподшипникового завода, крупно печатал в своей газете: «Мир будет вращаться на советских подшипниках!»

Между тем «Красный пролетарий» модернизировал свой ДИПы, выпускал усовершенствованные модели токарных винторезов, называя их уже без призывного форса, просто, по техническим параметрам — 1К62, 16К20. Он гнал их на конвейерах в огромных количествах, выбрасывая на внутренний рынок, а потом и на внешний, в основном в социалистические и слаборазвитые страны. Теперь форс был уже не в лозунгах, а в причастности к мировым техническим достижениям. «Мы ж и станки с ЧПУ делаем». Это в семидесятые был последний писк технической моды — числовое программное управление, станок, управляемый компьютером без обычного токаря, утирающего потемневшей от масла рукой пот со лба. Выпускались такие автоматы, правда, мелкими сериями, а обычные токарные винторезы по-прежнему шли конвейерным потоком на внутренний и внешние рынки, иногда попадая даже на запад.

— Ну, скажи, — спрашивал я у приятеля, конструктора с «Красного пролетария», — зачем американцам и немцам с их развитым станкостроением ваш 16К20?

— Конечно, на современном индустриальном производстве он не нужен. Ну а возьми какого-нибудь рукастого фермера, у которого домашняя мастерская, ему выточить деталь для сломавшегося агрегата на дешевом, компактном, надежном токарном станке — самое то. Да и мало ли какие умельцы бывают с мастерской при собственном доме...»

Разговор этот шел в пивном баре Дома журналистов, весьма модном в те годы в Москве питейном заведении, куда я время от времени приводил друзей — молодых инженеров с разных заводов потолковать о всякой всячине и в том числе о том, что делается у них на работе. И подчас открывалась подоплека реальной жизни. То, что ни из отчетов, ни из бесед с начальством узнать было невозможно.

— Запомни, — назидательно говорил мне отец, когда я при шел в большую газету. — Журналист должен иметь своих людей в разных слоях общества — от проститутки до министра.

Я посмеивался, представив себе информацию, получаемую от проститутки. Но смех смехом, а сам он, вернувшись в журналистику после многолетних гулаговских странствий и заново осваивая экономическую тематику, стал приводить в дом самых разных людей — рабочих, изобретателей, ученых. Мать послушно накрывала на стол, и начинались долгие монологи-исповеди, прерываемые участливыми и точно поставленными отцовскими вопросами. Это и меня учило уменью входить в чужие профессиональные интересы, тактично направлять разговор в нужное тебе русло.

Между тем мой конструктор, отхлебнув изрядный глоток пива из кружки, решил позабавить меня заводской байкой до которых, как он знал, я был большой охотник. Уверял, что слышал эту историю от представителя «Станкоэкспорта», который был недавно в его КБ. Где-то, неизвестно в каком городе, жил да был завод, выпускавший примитивные сверлильные станки. Изделие нехитрое — сверло, шпиндель — сиречь вал с приспособлением для закрепления заготовки — и станина, в данном случае, массивная чугунная. И вдруг приходит через Внешторг заказ на эти станки, откуда бы вы думали, аж из Японии. Желают японцы закупить сто таких станков. Замечательно. Изготовили, отгрузили. Потом еще сотню требуют, еще... Во Внешторге озадачились, для чего Японии с ее высоким уровнем технологии эти примитивные сверлилки? Что-то тут не так. Дали задание торгпредству выяснить, в чем дело. Выяснили и ахнули. Оказывается, эти станки, прямо не распаковывая, в печь отправляют. Страна сырьевыми

ресурсами бедная, А тут массивная чугунная станина, переплавляй ее и пускай металл в дело. Тем более, что цена этих сверлилок по мировым критериям плевая, демпинговая.

— Как, думаешь, наш Внешторг отреагировал на эту информацию? — спросил меня мой конструктор. — Разорвал контракт, отказался поставлять станки.

— Обиделся?

— Конечно, обиделся. Что же это, мол, такое! Мы ж все-таки передовая индустриальная держава, человека в космос запускаем... Наши люди трудятся, изготавливают станки, а вы плоды их труда — в печку. Если нужен вам металл, покупайте, у нас вон какая металлургия...

— Значит, выгоднее им было переплавлять эти станки. Японцы, они смекалистые, — вмешался в разговор наш случайный сосед по столику. — Это что... Вот я слышал еще такую историю. Япония массово закупала у нас битое стекло. Зачем? Схема была такая: стекло поступало в качественных деревянных ящиках, его выкидывали в море или еще куда, а из ящиков делали мебель и отправляли ее обратно к нам.

Много чего можно было услышать в этом баре, куда собирался попить пивка разный досужий народ из околожурналистского окружения.

Но в байках, звучавших в тот день за нашим столом, проступало нечто фольклорное — некий Иван-дурак, который лежал на печи, поддаваясь на уловки хитрого азиата, а уж как проснется, да слезет с печи, так весь мир удивит — человека в космос запустит. И ты, узкоглазый азиат, при всей своей успешности не моги обижать нашего Ивана, какие б он дерьмовые станки ни выпускал, не моги в печку совать плоды его труда. «У советских собственная гордость...» Много чего было намешано в этих фольклорных сюжетах.

**Страдания миноритарного акционера.** Я навещал этого моего конструктора и в нынешние мои деревенские годы, приезжая в Москву за пенсией и платой за сданную квартиру. Ночевал у него, разделяя на пару дней его одинокое и скудное житье. С женами он расхотелся, детьми не обзавелся и куковал один в своей однокомнатной квартире, перебирая в памяти прошедшие годы и гневливо воспринимая нынешние. Всю жизнь он проработал на заводе и теперь в своем пенсионерском существовании с ужасом следил за происходящими там событиями, обзванивая бывших сослуживцев.

— Понимаешь, — говорил он мне за рюмкой водки, которую мы могли теперь себе позволить в очень умеренных количествах не в пример нашим молодым застольям. — Преступления всякого рода совершались и раньше, но не так открыто, как сейчас — без всякого страха наказания. Взять хоть эти рейдерские захваты — ведь ни бога, ни черта, ни следствия не боятся, творят что хотят. Приходит на завод сотня молодец-чоповцев, вышвыривают всех — от рабочих до директора, закрывают производство и всё. Сто пятьдесят лет истории, слава флагмана точного станкостроения, заказы, призы на выставках — все это псу под хвост.

— Ну не просто же так приходят, что-то же этому предшествовало.

— Предшествовало. Но что! Началось с приватизации. Завод стал акционерным обществом. Восемьсот акционеров, и я в том числе — так называемый миноритарный акционер как старый работник. А контрольный пакет акций — шестьдесят пять процентов — у генерального директора Кириллова Юрия Ивановича.

— Мы тогда их называли красными директорами, — перебил его я, — и очень опасались концентрации собственности в одних руках.

— Да ничего страшного в этом не было. Кириллов давно работал на заводе, болел за производство, стремился к его развитию. Правда, нелегко ему приходилось в новых условиях. Оборудование — и морально, и физически — старело, а инвестиций, да и собственных средств на его обновление не хватало, стоимость материалов и комплектующих изделий росла, рентабельность, соответственно, падала. И все это

отражалось на конкурентоспособности наших станков. Но он делал, что мог, пока в конце нулевых годов его не убили.

— Как убили?

— Зверски. Пытали, чего-то добивались, скорее всего, передачи контрольного пакета. Это было на Кипре.

— А как он оказался на Кипре?

— Вот этого я не знаю. То ли отдыхать поехал, то ли скрывался. Ему ведь, говорят, угрожали. Мог и скрываться. Жизнь-то дорога. Одним словом, не стало Юрия Ивановича. Хороший был человек, я его знал. Давай помянем его, страдальца, не чокаясь.

— Ну, а дальше-то?

— А дальше контрольный пакет оказался у заводского юриста Сергея Белозёрова. Кириллов же его и взял на работу, молодой, говорил, но толковый, скромный, трудолюбивый парень. Как уж там этот трудолюбец присвоил пакет и стал собственником завода, я тебе не скажу. Там, говорят, всякие мошеннические фокусы — офшоры, залоги — были. Не нашего ума дело. Да только не долго ему пришлось владеть заводом. Выпал из окна с шестнадцатого этажа.

— Мать честная. Второе убийство.

— И заметь, тоже не раскрытое. А дальше такая вакханалия началась — арбитражные суды, рейдерские захваты, появление каких-то никому не известных собственников, каких-то таинственных офшорных компаний, неизвестно кому принадлежащих. В конце концов завод закрылся, оборудование продали или сдали в металлолом, цеха стоят полуразрушенные в руинах, инженерный корпус сдали в аренду под какие-то офисы. Словом, нет завода, как и не было, одно воспоминание осталось, пустой звук, как и от всей нашей жизни, прошедшей на нем. Давай, что ли, и завод помянем.

Он вытер повлажневшие глаза и разлил остаток водки по рюмкам.

— Нет, ты мне скажи, — попытался я. — Кому и зачем надо было убивать завод? Что тебе твой информатор говорит? — кивнул я на компьютер, светящийся экраном на столе.

— У информатора версии разные. Но есть и такая — земля. Несчастьем завода стало его расположение в историческом центре Москвы — у Донского монастыря. Когда Бромлеи располагали его здесь, они, конечно, не могли предположить, что подписывают своему детищу смертный приговор, который будет приведен в исполнение сто лет спустя. Если твои цеха занимают десятки гектаров драгоценной московской центральной земли, тут много охотников найдется оттяпать у тебя эту землю да построить на ней хоть офисные здания, хоть элитное жилье. Говорят, цена вопроса достигает здесь трехсот пятидесяти миллионов долларов.

— Ого. Но выходит, что пустить эти гектары под застройку выгоднее, чем производить на них станки.

— Оно может и выгоднее с точки зрения отдельной фирмы или корпорации, но если говорить о государственном интересе... Ты посмотри, посмотри сюда, — он показал на экран компьютера. — Вон Паничев, бывший министр, а сейчас он руководит ассоциацией «Станкоинструмент», пишет: по данным на 2011 год в стране уничтожено сорок два станкостроительных завода, около трети былых мощностей. К чему это приводит? В Россию завозят втрое больше машиностроительного оборудования, чем производят внутри страны. И откуда завозят?

— Из Штатов, Германии?

— Да нет, брат, в основном из Китая, Таиланда. Выходит, они могут производить конкурентоспособные станки, а мы нет. Что ж, мы сырьевой нефтеносный придаток мира?

Далеко мы ушли от судьбы бромлеевского завода у Донского монастыря, которому мой темпераментный конструктор отдал свою жизнь. Да и меня в моей деревенской глухомани не отпускали те же мысли.

## Глава вторая. Ноябрь в деревне

**Приезд Мити.** В то ноябрьское утро я, начитавшись всяких печальных заводских историй и уморившись сострадать и удивляться гибели знакомых мне миров, в конце концов задремал в своем покойном кресле. Разбудил меня шелест автомобильных шин и глухой гул мотора за окном. Кто бы это мог быть? В эту ноябрьскую пору ждать гостей в нашей деревне не приходилось. Митя? Вроде бы неурочное время и для его приезда. Конец ноября для него, генерального директора завода, самый аврал, подбивание хвостов. Иное дело лето — тут он еще мог нагряться, отойти душой от своей круговерти, отоспаться в деревенской тиши, сходить со мной на озерную рыбалку...

Но вот шаги на крыльце и Митин голос: «Хозяин. Живой?». Страхнув остатки дремоты, распахиваю дверь: «Живой. Заходи». Обнялись. Я ощутил исходящий от него запах дорогого парфюма, гладкость хорошо выбритых щек. Оглядели друг друга. С полгода не виделись. Редко он стал заезжать ко мне.

Каждый его приезд — как яркое пятно в серой жизни нашего вымирающего села, словно привет из другого далекого мира, где ездят не на дребезжащих от старости «Жигулях» и «Нивах», а на низких присадистых «Мерседесах» или не боящихся наших ухабов зарубежных внедорожниках. Вон он виднеется за моим окном его «Гелендваген» благородных угловатых очертаний, отделанный внутри кожей и деревом, набитый всяческими удобствами и наворотами.

В этом мире легко путешествуют по границам, пьют дорогие зарубежные напитки, а не нашу водяру, бог знает где и как произведенную. (Так и стукнула о стол бутылка привезенного им виски.) Да и сам он, мой Митя, не потерял мужской стати, не износился до стариковского обличья, несмотря на сумасшедшую работу, на производственную ляжку, которую он тянет в свои немалые годы. Остро поблескивают его глаза, легко змеится на губах улыбка. Складно говорлив, проворен в движениях. Куртка на нем теплая, но легкая, ясное дело, импортная. И сам он весь так чужд нашей деревенской осенней тишине, улице с серыми, некрашеными домами, над которыми лишь изредка курится печной дымок, а другие избы смотрят на мир слепыми, заколоченными окнами.

Его-то дом по соседству с моим тоже как иноземный щеголь среди опустившихся стариков. Не захотел он в свое время подновлять купленную по моей комиссии старую избу, снес ее и выстроил на этом месте нарядный шатер в два этажа, да еще с мансардой, устремивший в небо остроконечную крышу. Зачем такой дом был нужен ему, время от времени заезжающему на неделю-другую отдохнуть от городской суеты, непонятно было. Мог бы и у меня жить. Оно и Володька, который строил по его чертежам этот вигвам, тоже удивлялся. Причуда, мол, барская. Но и тот же Володька, нахватавшийся в Москве всяких современных речений, говаривал: «Любой каприз за ваши деньги».

— Надолго? — спросил я.

— Там посмотрим, — уклончиво ответил Митя, что было несколько странно для него, всегда четко отмерявшего время, которое он отпускал себе для отдыха.

— А чего в дом к себе не заехал?

— Да вот захотелось сперва к тебе. Там же сначала прибраться, протопить надо.

— Это да. К тому же забор там у тебя пошатнулся. Надо подколотить.

— А чего ж Володьке не сказал. Он бы сделал, я бы потом рассчитался.

— Да нет больше Володьки.

— Как нет, что помер, спился?

— Похуже. Утонул в яме с коровьим дерьмом.

— Да ты что! Как же так?

— Возвращался с охоты, он же у нас охотник был, собака его заскочила в навозохранилище неподалеку от Бобылёво... Там же теперь мегаферму коровью построили огромную, на две тысячи коров, краса и гордость отечественного животноводства, телок голштинских аж из Австралии завозили, наши черно-пестрые им не подошли, все технологии — доение, кормление — тоже импортные. Ну а навоз старым дедовским способом в яму сбрасывали. Вот собака его в эту яму и заскочила. Стала тонуть. Он полез ее выручать, собаку вытолкнул, а сам, видно, обессилел — утонул.

— Бог ты мой, какая страшная смерть. Но подожди, подожди, что ж это за яма такая? — Он вытащил блокнот, ручку. — Сколько корова дает в день навоза? Ты ж у нас теперь селянин, должен знать.

— Килограммов тридцать пять-сорок.

— Ну, возьмем тридцать пять, на триста шестьдесят пять дней да на две тысячи коров. — Он пощелкал клавишами счетного устройства. — Выходит двести пятьдесят шесть тонн. Ничего себе...

— Да ведь они там смывают его. Это тебе не крестьянин с его парой коров и даже не колхозная ферма с несколькими десятками животных. Там можно хранить навоз сухим до осени, а потом вывозить его на поле, запахивать. А здесь полужидкая масса, шланги, насосами подается в хранилище, лагуна это у них называется.

— Да при таком объеме это ж целое озеро.

— Так лагуна в переводе с латыни и означает — озеро.

— Там, пожалуй, и дна не достанешь.

— Вот он и не достал. Побарахтался и утонул. Там, конечно, обваловка должна быть многометровой высоты., но если собака легко запрыгнула, да и он за ней, какая там обваловка...

— Стало быть, Хрюня одна осталась.

— Что ей тут одной делать? В Москву подалась, у них же там комната в коммуналке есть. Так что придется тебе самому свой забор подновлять...

Говоря все это, я чистил картошку, разделал селедку, достал из холодильника графинчик с водкой, собственноручно настоянной на лимонных корочках — бог с ней с его бутылкой виски, как-нибудь потом ее оприходуем.

— Давай помянем Володьку, — сказал Митя, когда сели за стол.

И мы выпили по первой, не чокаясь.

**Эпитафия.** Это был дворовой человек. Но не в дворянско-помещичьем смысле, а из числа дворников, сантехников и прочей жэковской обслуги, живущей в подвалах или в принадлежавших ЖЭКу квартирах — полупьяных мужиков, клянчащих у жильцов рублик и кое-как исполняющих свое дело.

Правда, он принадлежал не к нашему с Митей абельмановскому двору, а к другому, в центре города, в переулке между Мясницкой и Лубянской или как тогда их называли — Кировской и Дзержинкой. В этот переулок мои родители переехали по обмену, когда я уже давно не жил с ними, устроившись вместе с Таней в полученной ее родителями квартире в пятиэтажной хрущевке в Хорошево-Мневниках.

После скитаний по съемным коммунальным комнатам нам эта квартира казалась чудом комфорта. Только спустя какое-то время, когда родился Сенька, мы по-настоящему ощутили ее недостатки — тесноту, щели в оконных рамах, куда заливал дождь, а зеленый пластиковый пол, который сначала казался нам таким красивым, в жару испускал противный запах. На первых же порах нас воодушевляло одно — это отдельная квартира.

Комната, в которой жили мы с Таней, была пуста. Сначала спали на полу, потом на первый мой гонорар, полученный за журнальные рассказы из заводской жизни,

купили раскладную тахту. Но одежда и книги лежали в чемоданах. На платяной шкаф и полки денег не хватало.

Мама моя, критически оценивая наш быт и зная мою безрукость, унаследованную от отца, который, несмотря на свою лагерно-ссылную эпопею, где были и тачка в приисковом забое, и лямка грузчика, дома гвоздя в стену не мог или не хотел забить, нашла выход со свойственной ей изобретательностью в бытовых делах. Переезжая с квартиры на квартиру, она всякий раз обзаводилась помощниками — хозяйственными рукастыми мужиками чаще всего из жэковской обслуги, подкрепляя отношения с ними трешками, выдаваемыми в период трудного похмелья и отрабатываемыми всякими ручными работами. Я называл этих ее помощников лейб-плотниками.

Таким лейб-плотником был и Володька или, как почтительно величала его мама, Владимир Яковлевич. Худой, пригорбленный, жилистый, он смотрел на мир узкими глазами, остро поблескивающими меж выдающихся скул, напоминающих о татарских корнях многих русских людей.

Будучи дворником, он жил в полуподвале маминого дома вместе с женой, которую он кликал Хрюней то ли из-за ее несколько пороссячьей внешности — курносость, дебелая полнота, румяное круглое лицо, — то ли просто из вредности своего характера. Оба они были людьми предприимчивыми и кроме уборки двора и оказания всяких плотницких услуг жильцам промышляли еще и мелкой спекуляцией — толкались по окрестным магазинам, благо и Гум-Цум находились недалеко — и перепродавали добытый разными путями дефицитный товар. К постоянным жильцам его дома Володька был снисходителен, и когда маму заботила какая-нибудь промтоварная нужда, говаривал: «На страдай, Анатольевна, я завтра свою Хрюню пошлю побунькать по лавкам». Он был по-своему филологически талантлив, прекрасно владел городским блатным жаргоном, а когда впоследствии перебрался в деревню, тонко имитировал старый народный говор.

Вот его-то, этого своего лейб-плотника, мама и послала ко мне разобраться с нашим мебельным неустройством. И он разобрался. Привез с собой несколько досок, реек и каких-то металлических трубок, найденных, судя по всему, на помойке, отчистил, отстрогал их и соорудил в нашей небольшой нише некое подобие шкафа, которым мы и пользовались до той поры, пока не накопили деньги на настоящую импортную мебель.

Распивая вместе со мной после завершения работы бутылку на поставленном на попа чемодане, опустевшем от одежды, и, видимо, чувствуя себя благодетелем, он сказал: «Что же это ты, друг мой милый, без стола живешь. Надо бы тебе, журналист ты наш недоделанный, помочь со столом».

— Почему недоделанный? — удивился я.

— Ну, какой же журналист без стола.

— Что ж, помогите.

И ведь помог. Привез вскорости на каком-то левом пикапе ломберный стол, найденный им на чердаке его дома, куда жильцы порой выбрасывали старую мебель после покупки новой. Стол был на одной разлапистой ножке, хорошей породы дерева, благородной овальной формы. Правда на поверхности его какой-то неизвестный умелец вырезал три классические буквы — икс, игрек и «и» краткое. И глубоко вырезал, видно, старательный был парень, так что ни зашлифовать, ни заполировать надпись оказалось невозможно. Так и стоял этот стол у нас долгие годы, правда, покрытый красивой льняной скатертью в маскировочных целях. Володька немного подколотил его, подстрогал и удовлетворенно сказал: «Живи, Данечка. Работай, пиши на нем свои сочинения».

Он называл меня Данечка, так как звала мама. Я же его по маминому примеру на вы и по имени-отчеству. Это приводило порой к курьезным ситуациям. Как-то я встретил его в пору моей работы в городской газете в переулке между Чистыми прудами

и Кировской, куда мы направлялись с ребятами обедать. Он шел навстречу вполпьяна, пошатываясь, потупив мутные от хмеля глаза. Я окликнул его: «Здравствуйте, Владимир Яковлевич!» Он посмотрел на меня, ласково улыбнувшись: «Здравствуй, Данечка!»

Ребята обомлели. «Кто это, что за дядюшка подзаборный у тебя отыскался?» — «Да так, — смущенно усмехнулся я. — Вроде родственника». — «Ну и родственнички у тебя».

Когда мамы не стало, он пришел на поминки. Но не нажрался, хотя водки было залейся. Сидел грустный, молчаливый, даже слезу пустил: «Хороший человек была Анатолевна». Он и Таню мою называл по отчеству — Ефремовна. Когда она по своей бабьей наивности как-то укорила его: «Ну, зачем же так пить, Володя?», он улыбочиво развел руками: «Эх, Ефремовна, а для чего ж тогда жить, если не пить».

После ухода мамы я стал называть его на ты и по имени. А уж когда мы стали соседями в деревне, он меня — Данилка, я его — Володька. Собственно, и в деревне я оказался по его милости. С приходом новых перестроечных времен он звериным чутьем почувствовал, что они не несут ему ничего хорошего. Мамин дом, привилегированный, с просторными барскими квартирами, где он знал всех и вся, подрабатывая на разных мелких услугах, старел, давние жильцы вымирали, а новые — в нем не нуждались. Да и спекулятивный его приработок исчезал вместе с исчезновением товарного дефицита. В магазинах появилось все — были бы деньги. Привычное его маргинальное существование как-то скукоживалось, отмирало. Новые же перспективы открылись после смерти в деревне Хрюнипной тетки, оставившей племяннице старую, но еще вполне пригодную для жилья избу. Съездив на похороны, Володька убедился, что жить там не только можно, но и нужно. Оставив за собой приватизированную московскую комнату, он привел деревенский дом в порядок, развел огород, скотину, от пуза гнал самогон и зажил князем во князьях.

Несмотря на пьянство и хамские загулы, он был уважаемым человеком, нужным всем в этой исчезающей деревне. Его руки, его разнообразные мастеровитые умения оказались нужны и нищающим старухам с их все же выплачиваемой пенсией, и дачникам, наезжавшим на лето в эти живописные места.

В редкие свои наезды в Москву он звал и меня к себе, объясняя за бутылкой привезенного им же самогона всю бесперспективность моего московского стариковского существования. Таня к этому времени умерла, Сенька неведомо зачем шлялся по миру, то в Израиле, то в Индии оказывался, связь с ним прерывалась и в конце концов заглохла. Надо было мне искать себе спокойное стариковское пристанище. И я в конце концов задешево купил сосватанный Володькой выморочный дом, он же мне его и подновил, обустроил, помог развести огород. Так я зажил своей новой жизнью — осваивал нехитрые необходимые в деревенском быту ручные навыки, ловил рыбу в озере и даже завел пару коз, привязавшись к этим милым животным.

А потом удалось уговорить Митю присоединиться ко мне, создать себе убежище для отдохновения в его бурной жизни. И опять-таки Володька выстроил ему шатер рядом с моим домом. Так все шло своим чередом — Володькины загулы, мое размеренное житье за книгами и компьютером, редкие Митины приезды — пока не нагрянула ужасная Володькина смерть. И вот мы сидим с Митей и поминаем этого колоритного человека, как оказалось, немало значившего в нашей жизни.

**Двор.** А потом Митя пошел в чулан и гремел всяким хранящимся там инструментом, подбирая все, что ему нужно для ремонта забора. Вышел, неожиданно улыбаясь, протягивая мне старый молоток с выжженными на рукоятке неведомыми мне инициалами.

— Ты посмотри, что я нашел. Неужто это тот?

— Ты о чем?

И тут меня осенило, словно искрой прожгло память и выбросило в дворовое

наше детство, в ту теплую летнюю ночь, когда мы, десятилетние пацаны, стояли у дыры в стене — узкого лаза в подвал, где строительные рабочие оставляли свой «струмент». Один из нас троих (кроме Мити и меня был еще и Иван, Ванька по прозвищу «жирный», пухлый генеральский сынок, который во всех играх и проказах ни в чем не отставал от нас) должен был нырнуть в эту глухую черноту подвала, чтобы выбросить к нам, стоящим на стреме, все что там хранилось. Иван не мог преодолеть свойственную ему осторожность, я безумно боялся крыс. Полез Митя и вскоре к нашим ногам полетели молотки, рубанки, ножовки.

Для чего нам были нужны эти инструменты? А для чего нам была нужна бутылка с розовым маникюрным лаком, которую я среди бела дня, замирая от страха, выхватил из открытого окна парикмахерской, в то время как двое других стояли на стрёме. Ну, «струмент» мы еще поделили, так что мне достался тот самый молоток с выжженными на рукоятке инициалами владельца, и так он и ходил со мной всю долгую жизнь, забытый и напомнивший Мите свое происхождение в моем чулане. Но уж лак-то зачем? Разве что выбросить его оставалось.

Нет, тут не нужда была, а проверка своей решимости на поступок, опасный взрослый поступок. Ведь рассказывал же парень лет семнадцати на пыльном чердаке нашего дома, где курили и попивали вино из горла те, кто постарше, не выгоняя нас, восторженных слушателей-малолеток, как запрыгнул на полном ходу в кузов машины с рулонами ткани, и раз-раз — один, другой рулон летит на дорогу, где ждут кореша. Так и вижу сейчас, по прошествии более чем полувека, его испитое лицо, прикус папиросы, азарт во взгляде, во взмахах руки. Как это лихо, рискованно, фартово.

Двор бурлил воровской романтикой, не умеряемой заездами воронка, увозившего этих лихачей в долгие лагерные путешествия. Но для нас по младости и мелкости наших самопроверок все обошлось. Тем более, что эта игра вскоре сменилась другой. Мы стали барыгами. Наше новое и более скромное с криминальной точки зрения занятие было связано с перепродажей билетов в кино.

То было время, когда отечественный кинематограф выпускал лишь несколько фильмов в год. Но зато каждый был всенародным событием. «Небесный тихоход», «Подвиг разведчика» «Падение Берлина». Кто сейчас помнит эти картины? А тогда ходили на них семьями, смотрели по несколько раз, пели песни оттуда, восторгались образами и обликом героев с их прямолинейными, как выструганная доска монологами. У кинотеатров вились хвосты к кассе, и мы по воскресеньям терпеливо выстаивали их дважды и трижды — два билета в одни руки. А потом толкали их по двойной цене не желавшим стоять в очереди почтенным гражданам.

Навар шел на пончики с повидлом, отвратительно сладкие коричневые комки полусырого теста. Мы не голодали. А Ванька так и вовсе жил в холе и неге генеральского дома, обихаживаемый неработающей моложавой матерью. У Мити была нормальная, среднего достатка семья (отец — инженер, мать — врач). Да и моя мама — одинокая с эком-мужем машинистка — брала домой приработок, стучала до полуночи на машинке, чтобы я ни в чем необходимом не нуждался. Так нет же, несли в укромный закуток маслянистые кульки с пончиками, и тут же на улице у кинотеатра пожирали их, давясь и пачкаясь в повидле. Это тоже было по-взрослому. Не мамин обед, а купленная на заработанные деньги еда.

Такое барыжное занятие имело, однако, одну опасность. Около кинотеатра можно было натолкнуться на соседей, учителей, родственников, воспринимавших нас как обыкновенных школьников-пионеров, а отнюдь не юных спекулянтов. Но тут уж надо было остерегаться, зорко высматривать, не появится ли знакомое лицо. Митя однажды едва избежал столкновения с родителями, отправившимися в воскресенье в кино.

Эта история, опасливо обсуждаемая нами во время пожирания пончиков, натолкнула меня на сюжет первого в моей жизни рассказа, написанного год спустя

после того как мы, наигравшись в барыг, пришли к более естественным для нашего возраста и среды увлечениям. Митя, испытывая тяготение ко всему ручному, железному, пошел в кружок «умелые руки», читал журнал «Техника — молодежи», помогал отцу ремонтировать семейный мотоцикл. Я же ушел в запойное чтение всего, что ни попадя. Жюль Верн перемешивался в моей бедной голове с Джеком Лондоном, сказки народов СССР, пленявшие меня цветистой восточной фантазией, с гоголевскими «Вечерами на хуторе близ Диканьки».

Как я выплывал в этой мешанине сюжетов и образов, сказать трудно, но постепенно крепло желание сочинять самому, толкнувшее меня в литературный кружок Дома пионеров. Впрочем, это было потом, по мере вхождения в отрочество. а лет в двенадцать-тринадцать после ухода от дворовых игр мучило одиночество, грезились смутный мир коллизий, навешанный беспорядочным чтением.

Однако материал первого рассказа был взят из близкой мне реальности. Героем его стал юный пионер, отличник и примерный ученик, ведущий двойную жизнь, по воскресеньям торгуя билетами у кинотеатра. Не помню, описывалось ли там моральное падение этого двуличного отрока, помню только финал действия. Не узнав со спины своих родителей, он предложил им купить «лишний билетик». Заключительная немая сцена была вполне в духе гоголевского «Ревизора».

Завершив это сочинение, я немедленно отправил его в «Пионерскую правду», которая вывешивалась у нас в школьном коридоре, и дважды в неделю, когда появлялся свежий номер, нетерпеливо подбегал к газетной витрине, представляя, как будет выглядеть мой рассказ на газетной полосе. Но время шло, рассказ не появлялся, а потом вместо него пришло письмо на фирменном бланке. «Дорогой Даня!» — писала мне газета. Прочитав это обращение, я остановился в сладостном предвкушении. Ведь не может же за такими словами последовать нечто плохое. Но последовало. О публикации и речи не было. Они увидели в моем сюжете реальную ситуацию и посоветовали обсудить героя рассказа на совете пионерского отряда, то есть совершить самодонос.

Ох, как хохотал Митя, когда я показал ему это письмо, как хлопал меня, грустно улыбающегося, по плечу, как кричал: «Ну, что же ты стоишь? Давай покажем это письмо Ваньке, он же у нас председатель совета отряда. Пусть проработает тебя, как унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла». Видно, знание Гоголя и ему не было чуждо.

Вспоминая на старости лет этот мой первый литературный опус, я думаю о некоей предначертанности такого самодоносительного сюжета, описывавшего двойственность жизни юного человека. Ведь ему и во взрослой жизни пришлось одной рукой писать газетные передовицы, а другой листать страницы самиздата, днем сидеть на партийных собраниях, а вечером в кухонных разговорах поливать Софью Власьевну, то есть Советскую власть. С детства беспризорного это шло, когда продажа билета закусьвалась жирным пончиком.

**Тишина над озером.** В тот тусклый ноябрьский день мы долго обедали под водку из моего графинчика. Это от покойницы Тани у меня — наливать водку в графинчик, не ставить на стол бутылку. А у нее это было семейное — от матери, бабки — жены преуспевающего адвоката начала прошлого века — культура застолья. Суп разливался в супницу, не черпался из кастрюли, обеденный сервиз, салфетки... В моей семье пролетарской, эковской не до этих изысков было. А отец, вернувшись из своих гулаговских странствий, так и вовсе мог, если матери не было дома к его возвращению с работы, порезать колбасу на газетке, руками взять кусок селедки, которой закусьвалась неизменная вечерняя четвертинка. При этом чашка называлась кружкой — «плесни кипяточку в кружку», кровать — койкой. Я же в своем одиноком деревенском житье до колбасы на газетке не опускался, однако яичницу ел со сковородки.

Ну, уж в тот день по случаю гостя я аккуратно порезал и разложил селедку в сохранившуюся с Таниных времен селедочницу, полил подсолнечным маслом, обложил колечками лука. А картошка у меня была своя, отменная, сухая, отлично хранящаяся в погребе, она исходила паром и так хорошо шла под рыбу, водочку. Мы согрелись от этой славной еды, разомлели от печного жара, и чтобы не заснуть преждевременно тяжелым послеобеденным сном, решили пройтись, подышать холодным осенним воздухом.

Улица была пуста и умиротворенно тиха, только собаки бродячие, которых немало развелось в деревне, увязывались за нами, да старушечьи лица прилипали к окнам в редких жилых избах, дивясь на городского человека в яркой куртке, медленно шествующего по улице рядом с их Семёнычем.

Вышли за околицу, пошли вдоль давно не паханного поля, уже зараставшего мелколесьем, мимо кочкаристой луговины, заброшенного пастбищного угодья, куда выгонялся личный скот, когда он имелся в тогда еще живой деревне, сейчас-то остались две-три коровы у старух, кто покрепче. Подошли к озеру, побрели по смерзшемуся песку прибрежной отмели. Свежий, ветер нес низкие облака, легкой рябью шевелил озерную гладь. Сели на поваленный, добела отшлифованный дождями ствол дерева у самого среза воды. Великая тишина стояла над озером, над деревней, над окружавшими ее непахаными полями. И казалось, что она опускает этот мир в далекое прошлое, во времена движения племен охотников, бортников и рыбацких, заселявших этот лесной край редкими хуторами и городищами и смещавшихся, уходивших в дальнюю глушь под напором других племен, теснимых степными кочевниками. Уйдут ли остатки нынешнего великорусского племени в города, оставив этот край опустевшим, возвращающимся к своему первичному существованию, не нарушаемому вмешательством человека в природу? Об этом элегически рассуждали мы с Митей — два старика, выросших на окраине огромного города и пытающихся уединиться на этой пустеющей земле, откуда, может быть, и придется уходить на встречу с Богом, к растворению в Едином.

**Экологический баланс.** Митя был сумрачен, что-то угнетало его, но что — я не спрашивал, захочет — скажет.

— Как рыбалка в этом году? — спросил он, думая о чем-то своем.

— Да ничего, окунь, судак шел.

— Заморов больше не было?

— У нас не было. Ведь заморы — они отчего? Колхозы вносили удобрения на поля порой без меры, без толку — по снегу, их смывало в озера. Это вызывало рост растительности в воде, забиравшей кислород, так что рыбе становилось нечем дышать. Вот тебе и замор. Рыба стремилась к свежей воде в соседний водоем, шла туда по протоке или речке, скапливалась в узком месте. Старики вспоминали, как в большой замор лет десять назад по ручью через каждые два метра были пробиты проруби, у которых дышала рыба, и люди вылавливали ее сачками, за сутки по центру вытаскивали. Вот такая была рыбалка.

— А теперь, как я понимаю, — недобро улыбнувшись, сказал Митя, — здесь не сеют, не пахут, удобрения на поля не вывозят и экологический баланс восстановлен. И человек не мешает природе жить по своим законам.

— Оно так. Люди ведь здесь жили со времен неолита, не нарушая этого самого экологического баланса. Вон на том берегу в прошлом году археологи работали, откопали следы древнего свайного поселка. Люди забивали на прибрежном мелководье дубовые сваи, клали бревенчатый настил и строили на нем дома. Рыбу ловили. Мелкий скот разводили, но не только в шкурах ходили, из льна ткали рубахи. А уж как лес кормил — выжигали дубраву и на выжженной поляне сеяли рожь, пчельники в дуплах были, Грибы, ягоды, дичь. Каждое дерево свою пользу давало. Липа — на лыко, на

лапти, осина — для лодок-долбленок, ель и сосна — для корзин, дубы и вязы — для саней, сlegg, свай.

— Откуда ты все это знаешь? Уж не роман ли собрался писать из жизни пращуров.

— Какой там роман. Я свое отписал, по газетным страницам рассеял. Здесь ведь как — то с археологами у костра посидишь да по старой журналисткой привычке вытягиваешь из них всякую всячину. А то учитель географии из райцентровской школы, местный краевед десятиклассников своих привез вон на тот холм за околицей, где сохранились следы старого городища. Такой, знаешь ли, энтузиаст. Вот он книжку по истории района пишет. Мы с ним немало толковали, из него знания и восторги перед древностью как вода из водопроводного крана льются. Только спроси о чем-нибудь — не остановишь.

— И ты спрашивал?

— Спрашивал.

**Движение племен.** Прошлым летом мы стояли с учителем на вершине песчаного холма, на венчающей его круглой площадке, опоясанной рвом и валом со следами частокола, некогда ограждавшего городище. Теплый ветер пробегал по некошеным травам, шелестел в листве чахлого березняка. И мы все пытались представить, сколько веков отделяет нас от обитателей этого древнего поселения, от далеких пращуров нынешних крестьян.

Учитель и в самом деле был энтузиаст. Он неустанно открывал все новые городища и возил туда своих учеников, показывая им артефакты древней культуры — остатки железоплавильных печей, следы свайных поселений, культовые камни и жальники — славянские захоронения времен перехода от язычества к христианству.

И я подумал, зачем это деревенским подросткам с их дискотечными плясками и мечтами о городской жизни, зачем им карабкаться по заросшим папоротником и полынью склонам холмов, рыться в черной земле культурных слоев, выслушивать жаркие речи учителя, пытающегося пробудить их воображение рассказами о жизни обитателей этих исчезнувших селищ? Зачем? Трудно сказать. Но с другой стороны без таких знаний, без такого пробужденного воображения, в котором теплится ощущение связи времен, нет народа, нации, а есть скопление случайно поселившихся здесь людей, легко пришедших сюда и легко покидающих эту землю.

В своем деревенском уединении я перечитывал Ключевского, этого поэта исторического знания, у которого воображение так удачно дополняет суровую правду факта. Он писал об остатках городищ Киевской Руси, рассеянных по всему Приднепровью на расстоянии четырех-восьми верст друг от друга. Как и наши, открываемые краеведами селища, это было пространство, очерченное кольцеобразным валом, достаточное для одного доброго крестьянского двора. Такие одинокие дворы, окопанные земляным валом с частоколом для защиты скота от диких зверей, по мере распада родового быта славяне ставили, расселяясь по Днепру и его притокам, ими же колонизовалось Верхнее Поволжье и Северо-Западная Русь. Собственно, и Киев, по преданию, возник из укрепленных дворов трех братьев-звероловов, поселившихся на трех холмах высокого берега Днепра. Старшего брата звали Кий.

Но из южной Руси, под напором степных кочевников, поселенцы двигались на север, в верхневолжское междуречье и, отыскивая среди болот и лесов сухие возвышенные места, ставили на них избу, корчевали и выжигали лес, поднимали целину и, снимая несколько лет с удобренной золой земли хороший урожай зерновых, а истощив почву, двигались дальше, ставили новый починок, повторяя все сначала.

Ключевский отмечает непрестанное перемещение людей вольно-земледельческой Верхне-Волжской и Псковско-Новгородской Руси. И в этом был исток всего, исток формирования древних славян, двигавшихся по необъятной равнине. Воюя или

ассимилируя местные племена — чужь и мерь, литовцев и финнов, они, смешиваясь с ними, образовали постепенно великорусскую народность с ее городами и княжествами.

Это непрестанное движение племен — ось древней истории не только России, но и других стран, и оно гулким откликом отдается в нынешние времена.

Вспомнил, как во время своей поездки в Израиль к сыну в начале девяностых стоял в одном из еврейских мошавов Газы, тогда еще не отданной палестинцам, на таком же песчаном холме, как тот, что на окраине моей деревни. И так же обвевал меня ветер, только был он жарким, дующим из пустыни хамсином. Я стоял в обществе рыжеволосого иудейского крестьянина, всю жизнь посвятившего освоению новых территорий, превращению этих пустынь и болот в плодоносные, цветущие уголья. И он, махнув рукой на юг в сторону Синая, сказал: «Там тоже наши земли». — «Почему вы так считаете?» — спросил я. — «Так в Библии говорится», — ответил он. А я в соответствии со своим либеральным сознанием российского интеллигента сказал: «Ну, тогда и Москва должна принадлежать Финляндии, там некогда жили финские племена». — «Вы зря ему это говорите, он все равно не поймет ваших аллюзий», — сказал мне переводчик, в недавнем прошлом россиянин. — Да и что толку в подобных сравнениях? Он чувствует эту землю своей, все силы отдает ее освоению и окультуриванию — в отличие от российских крестьян, забрасывающих свои земли».

Тот иудейский поселенец и в самом деле ничего не ответил на мою историко-географическую реплику. Ему было неинтересно, на каких землях строилась Москва. Он жил в мире своих представлений, одержимый идеей движения своего народа вперед, идеей освоения территорий, на которых еврейские поселенцы будут создавать мошавы и кибуцы, выращивать финики и пшеницу.

— А много ли народу обитало в таких свайных поселениях? — прервал Митя мои воспоминания.

— Археологи говорили, что в этом приозерном поселке жили человек сто—сто пятьдесят.

— Немало.

— Столько живет в современных наших крепких деревнях, в тех, что еще остались, не вымерли.

— Выходит, история сделала круг — с чего начинали, к тому и пришли. Разве что поселения не свайные, а живут, как и в те времена, натуральным хозяйством — тем, что приусадебный участок дает, да лес и озеро.

### *Глава третья. Геодезия*

**Курьезная встреча.** Как это получилось, что мы, трое друзей детства, оказались на одном заводе? Он, конечно, был самым большим в округе и притягивал к себе обитателей района. Но в том же районе располагались и другие предприятия — мясокомбинат, металлургический «Серп и молот», шинный, подшипниковый — промышленная карта северо-востока Москвы выглядела пестрой, насыщенной разными производствами. Однако, автомобильный считался наиболее престижным заводом, и продукция его — первые советские малолитражки — должна была соответствовать замыслу вождя народов — посадить советского человека за руль личного автомобиля. У Гитлера таковым был «Фольксваген» — «Народный автомобиль». У американцев «Форд» в начале века моторизовал среднюю семью. Сталин же намеревался облагодетельствовать свой терпеливый народ с помощью «Москвича».

Работать на заводе, выпускающем эти машины, было как-то естественнее и интереснее, чем в скользких от крови и жира цехах мясокомбината или у дышащих жаром мартеновских печей «Серпа», так эффектно выглядящих на киноэкране и таких

мучительно тяжких, выматывающих силы в реальности. И я не удивлялся, встречая в цехах автозавода товарищей своих дворовых игр, хотя их подчас не так легко было узнать в облике великовозрастных рабочих.

Иногда эти встречи были курьезны. Как-то возвращаясь с Таней из гостей, от приятеля, жившего в заводском доме в Текстильщиках, мы встретили на узкой лестнице человека с помойным ведром.

— Здорово, Данила! — кинул он мне на ходу.

В сумерках подъезда я почти не разглядел его лица и осторожно ответил:

— Привет.

— Что, не узнаешь? — остановился человек. — А Валентину помнишь?

— Какую Валентину? — спросил я, косясь на жену.

— Ну, училку нашу Валентину Петровну. Она ж в первом классе тебя ко мне прикрепил, чтоб я тебе по арифметике помогал. Ты ж у нас отстающий был, Нестеров. Я тебя как-то в цехе видел, да ты меня не узнал....

Господи помилуй. Первый класс. Учительницу и в самом деле звали Валентиной Петровной. Мы с мамой вернулись из эвакуации, и я опоздал в школу на месяц и все никак не мог наверстать отставание, особенно по арифметике, читал-то я довольно бойко. Неужели этот мужик с помойным ведром и есть тот мальчик, с которым мы решали примеры после занятий.

— Послушай — говорила сквозь смех Таня, когда мы вышли из подъезда. — Неужели ты с семилетнего возраста настолько не изменился, что этот мужик в темноте на ходу узнал тебя. Да ты еще, оказывается, у нас отстающим был. Вот так вот живешь с человеком, а потом узнаешь про него всякие вещи.

**Мандатная комиссия.** Ванька Жирный и Митя пришли на завод после института. Иван окончил инженерно-экономический, Митя — Станкин, а со мной все оказалось сложнее. Мы с мамой понимали, что мои мечты о МГУ — филфаке или факультете журналистики — были несбыточны. Сыну «врага народа» путь туда заказан. И я вымечтал себе довольно сложную жизненную схему: идти в геологи. Летом и осенью — полевой сезон, а зимой, как мне казалось, делать особенно нечего — камералка, отпуск — самое время писать рассказы по летним впечатлениям, отдаваться литературному творчеству, к которому я чувствовал призвание.

Геология тогда считалась профессией мужественной, романтической, какой впоследствии стала физика. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», — писал в конце пятидесятых Борис Слуцкий. Теперь, на склоне лет, вспоминая, как менялись романтические склонности молодежи, ищущей себя в жизни, я усматриваю в этой смене запросов определенную логику общественного развития. В девяностые годы самыми популярными профессиями становились экономика и юриспруденция. С романтикой было покончено, учитывались потребности рынка. Но это было во времена, когда я стал стариком. А тогда, в начале пятидесятых, я отнес свои документы на геологоразведочный факультет института цветных металлов и золота. У меня их приняли, но, прочитав анкету, отправили на мандатную комиссию.

Я не знал, что это такое — мандатная комиссия. В комнате без вывески сидел немолодой благообразный человек в добротном сером костюме. Изучив мою анкету, он поднял на меня спокойный взгляд и сказал:

— Понимаю ваше желание послужить отечеству в поиске полезных ископаемых. Это похвально. Но наши геологи ведут разведку стратегического сырья, запасы которого представляют собой секретную информацию. Доверять эту информацию сыну человека, осужденного по пятьдесят восьмой статье, было бы неправильным, и вы должны это понять. Согласитесь, отказывая вам в приеме на геологоразведочный факультет, мы действуем в интересах государства, охраны его тайн.

Он был так доброжелателен и убедителен, что я проникся этим его

государственным интересом. Ну, в самом деле, как можно доверить знание о запасах стратегического сырья сыну «врага народа»?

Сколько раз в моей последующей долгой жизни мне предстояло разделять эту логику власти, этот ее государственный интерес, сколько раз меня обволакивала эта демагогия, да и я сам обволакивал ею других в своих газетных статьях. «Вы ж понимаете...» — говорили мне вкрадчиво и убедительно. И я все понимал — и смену вождей, и решения пленумов, которые мне приходилось комментировать. Я все понимал, со всем был согласен, и только теперь — в глуши разоренных сел, над списком «убитых» заводов сужу себя как частицу этой системы, в которой прожита жизнь

— Так что лучше вам поступать на технологический факультет, — завершил свое отеческое наставление мой добрый мандатный советчик.

Но на технологический я не хотел.

В конце концов, я остановился на геодезическом факультете института землеустройства. Он соответствовал моей будущей жизненной схеме. У геодезистов тоже были полевой сезон, романтические скитания по российской глубинке летом и, как я предполагал, привольное камеральное существование — зимой. Правда, имелись смутные сомнения, посеянные разговором в мандатной комиссии института цветных металлов. Карты и планы, к составлению которых причастны геодезисты, ведь тоже обладают секретностью, доверят ли их составление сыну «врага народа»? Но кто-то мне сказал, что проверка документов абитуриентов проводится лишь после второго года обучения. И я решил не упоминать в анкете о своем политическом изъяде, нет в семье репрессированных и всё тут. Если же проверят, найдут обман и на худой конец выгонят, то за два года, я полагал, можно овладеть азами профессии, устроюсь в какую-нибудь геодезическую партию.

Самое грустное и одновременно смешное оказалось в том, что я и за пять институтских лет так толком и не овладел азами профессии и совсем не потому, что мне мешала отцовская 58-я статья. Отца через год реабилитировали, и по условиям его реабилитации я имел чистую анкету. Просто по своим гуманитарным склонностям, плохой зрительной памяти и нелюбви к точным наукам я оказался патологически неспособным к этому измерительному ремеслу. До сих пор не могу понять, что мне мешало освоить эти в общем-то довольно простые знания и применить их на практике. Причем лучше всего я усваивал абстрактные и сложные предметы, которые оказывались совершенно не нужными в инженерной работе — теорию перспективы, дифференциальное исчисление. Но вот поверки теодолита — комплекс примитивных контрольных измерений этого прибора, я усвоить никак не мог. Меня беспокоило слово «поверки». Почему «поверки», а не «проверки»? Нехватка буквы «р» мешала мне запомнить последовательность и понять смысл этих действий.

Начав по окончании института работать самостоятельно в полевом отряде, я то и дело попадал в глупые ситуации, вызывавшие изумление других исполнителей работ, не имевших высшего образования, но выполнявших план на сто пятьдесят-двести процентов, в то время как я не дотягивал до ста.

Установив реперную точку, я на следующий день не мог найти ее на местности без помощи рабочих — деревенских ребят, которых я нанимал при прокладке теодолитного хода. Обратная геодезическая засечка — определение координат четвертой точки при наличии координат трех других — так называемая задача Потенота — ставила меня в тупик.

Я вычислял допустимое расхождение между прямым и обратным измерением линии с помощью двадцатиметровой ленты, по формуле из учебника инженерной геодезии Чеботарева, и у меня получалось пять сантиметров. Но выходило больше, и я с упорством добросовестного идиота заставлял рабочих измерять три, а то и четыре раза.

— Твои ребята говорят, что ты их заставляешь по три раза мерять линию. Это правда? — спросил меня, приехав с проверкой, главный инженер отряда Николай Николаевич Циолковский. (Полвека прошло, а я помню его фамилию и весь его облик интеллигентного пожилого москвича.)

— Правда, — признался я. — Расхождение должно быть пять сантиметров.

— Ты это с чего взял?

— Да вот формула в учебнике. — И я полез в рюкзак за толстенным томом классика инженерной геодезии, который я таскал с собой.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Циолковский. — Посмотрим... Да ты же ошибся на один знак при извлечении корня. Не пять, а пятьдесят получается. Но зачем ты вообще выводил по этой формуле сам. У тебя инструкция есть? Давай-ка ее сюда. Вот видишь, здесь стоит пятьдесят сантиметров. Да и вообще никто из исполнителей работ по два раза линию не меряет, так прокинет иногда ленту в контрольном порядке и все. Но чтоб по три раза... Я понимаю, почему у тебя в прошлом месяце семьдесят процентов плана. Эх, тебя бы поставить помощником к Сиськовичу, он бы тебя живо всем фокусам выучил.

Сиськович был деревенский мужик с семилетним образованием, который каждый полевой сезон приезжал в отряд из Белоруссии и выдавал по двести-триста процентов плана, возвращаясь осенью к себе в село с хорошим заработком.

— Да кто ж разрешит, — сказал Циолковский. — Ты ж у нас единственный исполнитель с институтским образованием. Тебя надо было бы начальником звена выдвигать, да как выдвигать при этой твоей блажи, когда ты даже план не можешь выполнить.

До начальника звена я так и не дорос, даже и при том, что постепенно преодолевал свою профессиональную неполноценность. Но сама геодезия хотя и открывала любезные моему сердцу дороги странствий по селам и полям, представлялась мне делом сухим и скучным. Все чаще приходили мысли о смене профессии.

Я уже однажды собирался бросать институт на втором курсе, как только вернулся отец, и решил поступать во ВГИК на киноведение. Это было время прихода на советский экран фильмов итальянского неореализма, обладавших для нас неизъяснимым обаянием. Картины Витторио де Сики, Лукино Висконти, Джузеппе де Сантиса, ныне забытые, тогда несли такую свежесть и остроту восприятия, что я хотел только одного — писать об этом кино, анализировать его приемы и методы, войти в кинокритику со всем запасом мыслей и ощущений, которые неореализм пробуждал во мне. Я написал рецензию на свой любимый фильм «Рим в 11 часов» Джузеппе де Сантиса, намереваясь подать ее на творческий конкурс киноведов, и собрался забирать документы из своего землеустроительного вуза. Но тут отец встал стеной.

— Ты с ума сошел, все это мальчишеские бредни. Ты должен иметь реальную профессию, которая ох как еще может пригодиться тебе. Получи диплом, поработай с годик, а потом иди хоть в киноведение, хоть в театроведение.

— Вот дядя Юра, — вторила ему мать. — его в лагере, как только узнали, что он инженер-строитель, так сразу же расконвоировали, и он строил кирпичный завод. А отец со своей журналистикой весь срок на общих работах, с кайлом да тачкой, как он только выжил...

— Что ж вы к лагерю меня готовите, — вяло отбивался я, понимая вместе с тем, что такова реальность. В годы моего детства мужчина либо воевал, либо сидел. — Все-таки сейчас не тридцать седьмой. Не должно такое повториться.

— Кто ж его знает, что нас ждет. Ведь и отец в твоём возрасте не думал о том, что его ожидает такое.

— Ему не повезло.

— Мне как раз повезло, — вмешался отец. — Я выжил, вернулся. А сколько людей сгнило там... Скольких расстреляли, как того же Колю Тихонова.

Тихонов был другом отца, секретарем парткома на его любимом шарикоподшипниковом заводе — «Шарике», о котором он вспоминал всю жизнь.

— Но мы ж о тебе думаем, за тебя боимся, — продолжала мать. — И ты должен понять нас.

Я понимал, все понимал и все видел. Видел, как изнурена и преждевременно состарилась мать, как сломлен отец и как трудно ему входить в новую жизнь. Я с тоской смотрел как он, отвыкнув за пятнадцать лет от больших городов с их транспортными потоками, согнувшись, перебегает улицу, увертываясь от автомобилей, как внове для него газовая плита. Его почему-то испугал легкий выброс газа, когда я чуть помедлил, поднося спичку к открытой конфорке. Мама сказала, что это следствие его давнего страха перед пожаром. На «Шарике» было несколько тяжелых возгораний, подозревали поджоги, шло долгое следствие, работало НКВД, кого-то посадили...

Страхи висели над нами, прошлые страхи отбрасывали тень на наше нынешнее существование. Впрочем, так или иначе в страхе жили все — от министра до рабочего, все были уязвимы.

Я перебирал в памяти эти разговоры с родителями, сидя у избяного окошка в сырой осенний день, когда в поле было работать нельзя, тупо глядя, как ползут по оконному стеклу дождевые капли. Да тогда я не смог противостоять напору и убежденности отца. Но теперь-то, теперь не пора ли прервать этот неудачный роман с геодезией? Конечно, во ВГИК я не поступлю, человек, получивший высшее образование по существовавшим правилам может снова учиться в вузе лишь заочно или на вечернем отделении. К тому же киноведческие мои страсти поостыли. Так что же? Журналистика? Но профессионального образования у меня нет. Да и уйти из полевого отряда просто так я не мог. Опять же по существовавшим тогда правилам выпускник вуза обязан три года отработать там, куда его распределили, иначе в отделе кадров ему не отдадут диплом, заложником которого он является. Надо что-то придумать. Но что? Не век же скитаться с теодолитом по этим деревням. Знать бы тогда, что в такой же вот глухой деревне полвека спустя мне придется завершать свое земное существование. Но это мне и в голову не могло прийти. А пришло другое.

Я вспомнил, что глазные врачи находили у меня некую редкую особенность зрения — произвольное дрожание глазного яблока — нистагм, чего я сам не замечал и не ощущал. Но если так, то можно предположить, что я не могу зафиксировать совмещение визирной оси теодолита с вешкой и стало быть вообще не пригоден к работе с оптическими приборами. Медицинская справка о такой профнепригодности будет равноценна вольной, которую помещик давал своему крепостному.

Однако в больнице райцентра глазной врач — простоватая женщина с обличьем пожилой крестьянки — отнеслась к моей версии с подозрением. Подтвердив после осмотра наличие нистагма, она тем не менее сказала, что справку выдать не может, так как впервые сталкивается с подобной ситуацией. Убеждать ее было бесполезно, а настаивать небезопасно. И я решил, бросив незавершенный теодолитный ход, поехать в Москву, поискать там более стоворчивого врача в хозрасчетной поликлинике, где остепененные доктора за небольшую плату принимали любых пациентов.

Ничего не объясняя родителям, уж было успокоившимся за судьбу своего детища, обретшего реальную инженерную профессию, я отправился в такую поликлинику и, выбрав в списке консультантов офтальмолога с грузинской фамилией, явился к нему на прием. Этот сравнительно молодой jovиальный грузин, бегло проверив мое зрение, с понимающей улыбкой объяснил, что подтвердить или опровергнуть мою версию не может ни один врач. Колеблется ли в результате нистагма визирная ось теодолита при совмещении с каким-либо предметом — это знаю только я сам. Объективных критериев здесь нет. Но логика в моих рассуждениях есть, и справку он мне даст.

В тот же вечер я выехал в Арзамас, где располагалась база отряда, и, проведя ночь в душном вагоне, наутро вручил справку начальнику.

Он долго читал ее, потом, подняв на меня угрюмый взгляд, сказал сидевшему за соседним столом главному инженеру:

— Видал, Николай Николаевич? Он, оказывается, у нас теперь профнепригоден. Ну и ну...

В комнате повисла тяжелая тишина, словно пронизанная мрачной иронией начальника и моим нервным ожиданием.

— Да брось ты, Пётр Васильевич. Отпусти его. Все равно толку от него не будет. А что он профнепригоден, так это я знал давно, — сказал Циолковский, видно вспомнив эпизод с моим троекратным измерением линии. — Пусть пишет заявление по собственному желанию и катится в Москву.

И я покатился. Выбросив при этом из головы невязки, задачи Потенота, полуразрушенные триангуляционные вышки, на которые страшно было забираться с теодолитом, и многое другое, что меня мучило и страшило на протяжении моей недолгой геодезической карьеры.

— Ну и что ты теперь намерен делать? — спросил отец. — Опять к киноведению будешь прибиваться? Сейчас как раз самое время. В Москве декада французского кино идет, Или ты специалист только по итальянским фильмам?

В этом слышны были какая-то недобрая ирония и вечный страх, что я собьюсь с пути, ведущему к реальному делу, способному кормить и дающему возможность выживать в любой жизненной ситуации.

Но я не отозвался на шутку.

— Попробую себя в журналистике. Хочу начать с заводской многотиражки, как ты когда-то. Если возьмут, конечно.

А день спустя мы сидели вдвоем за бутылкой в хлебосольном генеральском доме Ивана (его матушка всегда охотно принимала друзей сына) и отмечали мое возвращение в родные пенаты. Пока я мерил землю в своих геодезических странствиях, мои друзья делали карьеру на заводе. Иван был заместителем начальника планово-экономического отдела и по общественной линии — заместителем секретаря комитета комсомола. А Митю прочили в начальники прессового цеха, что по его молодому возрасту было очень высоким назначением, в цехе насчитывалась тысяча человек.

Я спросил, есть ли на заводе многотиражка и не нужны ли там сотрудники? Газета имела и даже ежедневная.

— А вот нужны ли там люди, это надо узнать, — сказал Митя.

— Да ведь у тебя никакого журналистского опыта нет, — заметил Иван.

— Ну и что? — спросил Митя. — Там редактор что, думаешь, прямо тебе Михаил Кольцов? Он еще недавно художником в клубе был. А один его сотрудник так и вовсе табельщиком в отделе кадров обретался. Да Данька с его литературными склонностями любому из них сто очков даст. Ты бы поговорил в парткоме, они ж тебя там привечают, может, есть место в газете.

— Поговорю, — не очень охотно согласился Иван.

Как я вскоре понял, он к тому времени обладал определенным влиянием на заводе, но пользовался этим влиянием осторожно, попусту его не растрчивая. Тем не менее, отказать в помощи другу детства он не мог.

Оказалось, всё однако проще, чем я ожидал. Секретарь парткома, всю жизнь проработавший в этом районе, еще по тридцатым годам помнил отца в его шариковской многотиражке и усмотрел в моем приходе в газету автозавода радовавшую его преемственность традиций. Так что вскоре я с удостоверением сотрудника газеты ходил по заводским пролетам, заводил знакомства в цехах и отделах, иногда со временем перераставшие в дружеские связи, а потом писал свои первые заметки, осваивая первичную журналистскую науку.

## *Глава четвертая. Завод*

**Предупреждение.** Узнав о моем приходе в заводскую газету, отец обошелся без сантиментов по поводу того, что я как будто повторяю его путь, во всяком случае в своих истоках, а ограничился довольно мрачным пророческим предупреждением: «Газета это тебе не литература, это трудное, а подчас и грязное ремесло, от которого в какие-то моменты тебе блевать захочется, но деваться будет некуда».

Я спрашивал его, как же он сам после стольких лет лагерей и ссылок снова взялся за это ремесло, которое прославляло и лакировало эту жизнь, и только теперь на старости лет понимаю, как в сущности жесток был такой вопрос.

Он разводил руками: «А что делать?» И в этом простом житейском ответе скрывалось значительно больше, чем мне тогда казалось.

Никакой альтернативы — и внешней, бытовой, и внутренней, духовной — у него, как и у многих его сверстников, не имелось. Ни убежать из страны, ни уйти в себя, в свою внутреннюю жизнь не представлялось возможным. Они были воспитаны этой системой, охватившей все проявления человеческого существования, вошли в нее, не зная ничего другого, стали ее законными детьми, одни более, другие менее последовательными в своих мыслях и действиях.

Беда, как я теперь понимаю, заключалась в потере точек опоры. Кроме извечных заповедей — не убий, не укради... — не оставалось ничего. Да и эти заповеди подрывались воспитанием: классовое выше общечеловеческого, нет общечеловеческой правды, а есть классовая. Такая философия, помноженная на обычные человеческие пороки, приводила к утрате привычных нравственных критериев, искажению духовного зрения, видения мира. Палач легко становился жертвой. Жертвой мог стать всякий. И от него отступались все.

Конечно, человеческую природу нельзя было переделать за полвека. Многие оставались, теплились, таились в глубинах общества, народа. Более того, находились люди, которые, пройдя через лагерный ад, не примыкали к власти, даже если открывалась такая возможность, уходили в тайнописание, в религиозную жизнь, в своего рода пассивное сопротивление. Их насчитывалось немного, но они существовали. Однако решиться на такое мог не всякий. Требовалась немалая духовная, нравственная сила.

Отец рассказывал, как весной 1954 года, после реабилитации, выйдя из здания ЦК с партбилетом и направлением в газету, он в задумчивости присел на скамейку в скверике. А может, описать все, что было с ним, как есть, без прикрас и умолчаний? Написать для детей, внуков, оставив до иных времен, когда бы они ни пришли. Но это означало жизнь тайную, скудную, подвижническую. Хотелось же передышки и для себя, и для семьи, примирения с действительностью, привычной газетной работы, забытых житейских благ. И он пошел в газету.

Я нередко вспоминал его предупреждение и в многотиражке, и в городской газете в долгие редакционные зимние вечера. Духота, прокурено, желтый тусклый свет. Полосы, подборки заметок, исступленное писание, неряшливые лиловые буквы, пальцы, измазанные чернилами. Крутишься вокруг десятка желтых, тупых, скучных слов, что стекают с твоего пера — соревнование, творчество, обязательство, план.

Но это было потом, годы спустя, а первое время я как нож в масло входил в заводскую жизнь, упоенно познавая и впитывая ее в свое молодое сознание.

**Главный проспект.** Видится мне по прошествии стольких лет, когда завода давно уже нет на этом свете и след его простыл на северо-восточной окраине города, словно растворился он в воздухе, как растворился дом, где я прожил тридцать лет, так что

вместо заводских корпусов какие-то бизнес-центры, фитнес-клубы и прочие заведения нынешнего времени, так и видится большой проспект на основной территории.

На многих заводах имеется эта главная магистраль, пересекающая двор между корпусами тусклого, словно придымленного кирпича, и так же едут по ней автокары и пикапы, перевозя детали, так же спешат на совещания мелкие и средние начальники в своих синих халатах, придерживая рукой в зимний день от холодного ветра шапку на голове, так же густеет эта улица народом в обеденный перерыв, и так же становится безлюдной к вечеру, когда слабо светящиеся фонари едва разгоняют сумерки двора.

Сколько ж раз на дню я пробежал по этой улице, где с одной стороны корпус механических цехов, а с другой — вспомогательные цехи — инструментально-штамповый, ремонтно-механический, экспериментальный. Памятью всей жизни помню каждый пролет, каждый проход между станками, каждый металлический трап, что ведет на второй этаж — все исхожено, изучено, опущено в воспоминания.

Вот я, двадцатипятилетний, едва заглянув в редакцию, натянув свою спецовочную куртку, в нагрудном кармане которой блокнот и трубка, (да-да, трубка с мальчишеским гонором раскуриваемая и в цехах, и в редакционной комнате во время писания заметок у окна, выходящего на крыльцо-паперть главного входа, так что текущий через этот вход человеческий поток видит журналиста, склонившегося над блокнотом, прямо-таки тебе молодой Эренбург), так вот, натянув эту куртку, устремляюсь через проходную на главный проспект, в свой ежедневный поход по цехам.

**Один день начальника цеха.** Между тем Митя вскоре после моего прихода на завод стал начальником прессового цеха. Мы встречались нечасто, все больше на каких-то оперативках, заседаниях, где и словом не перемолвишься. Однажды я попросил разрешения провести с ним целый день, решив рассказать об одном дне начальника цеха

— Но только условие, — усмехнулся Митя, — ты покажешь мне то, что напишешь, до публикации.

Я пообещал, и мы уговорились встретиться на следующее утро в 7.30 в его кабинете.

Пришел я, как и договаривались, но начальника цеха уже не застал. Пуст был коридор цеховых служб, там начинали в восемь. Пуст кабинет Мити. Его стол — у окна. Пачка бумаг, пепельница-поршень. У двери — еще один стол, судя по машинке, для секретарши. Вдоль стены — третий, длинный, сваренный из «уголка» — для заседаний. Кожа стульев засалена от халатов и спецовок. По стенам — графики, в красках выполненный самодельный плакат: «Рекомендуемая гамма цветов для окраски интерьера и оборудования 12-метрового пролета» — НОТ, научная организация труда, техническая эстетика — модные тогда на производстве игрушки.

Я посидел минут пятнадцать в тишине этого августовского утра, прислушиваясь к мерному содроганию пола — внизу работали прессы — и пошел в цеховые пролеты.

Митя стоял у прессы в окружении людей, предаваясь странному на посторонний взгляд занятию — осторожно поглаживал рукой, одетой в чистую мягкую рукавицу, только что отштампованную крышу кузова. Я знал, что означает это сосредоточенное поглаживание, — искривилась поверхность стального листа, что-то случилось со штампом.

Несколько часов спустя на моих глазах в кабинет вошел начальник ОТК кузовного цеха, неся злополучную крышу. Положил на стол и стал демонстративно гладить.

— Не гладь, не гладь, — сказал Митя, — знаю. До вечера продержитесь на заделе?

— Продержимся.

— Ну, держитесь.

Но этот разговор был после обеда. А пока он сокрушенно вздохнул, отбросил рукавицу и пошел по пролету.

Так начался этот день, полный ходьбы по скользким металлическим плиткам пола, по узким пролетам, впрочем, с утра еще не очень узким, а к вечеру — уже заставленным ящиками с деталями, среди частого стрекота мелких штампов и гулкого грозного уханья — крупных, среди лавирующих автокаров, под плывущей высоко над головой рамой крана... Стремительное путешествие по известному лишь моему спутнику маршруту.

В конторке одного из участков — зыбкой, сотрясаемой от грохота прессов комнатке — рассматриваем вместе с мастером график заделов — на цеховом жаргоне «тянучку». Красные линии, исходящие от номеров одних деталей, вытянулись до середины листа миллиметровки, другие были в самом ее начале. Эти последние означали, что заделы подходят к концу, надо создавать новые, переставлять штампы. Несколько цифр в блокнот и снова — в пролеты.

Стоп. На неработающем прессе вращается маховик. Митя выхватывает у проходящего слесаря рукавицы и — вверх по лестнице на трехэтажной высоты колонну пресса, чтобы по локоть погрузить руки в его начинку. Через несколько минут уже внизу, встретив механика, машет рукой в сторону вращающегося маховика.

— Это электрики виноваты, Дмитрий Николаевич, — говорит механик. — Клапан-то работает.

— Нет, не работает.

— Работает.

— Я только что проверял.

Вскоре наверху у маховика уже несколько человек.

Остановка у другого пресса. Разговор с бригадой — конфликт из-за норм.

Навстречу электрик.

— Дмитрий Николаевич, течет с крыши прямо на пресс. Укутали электрошкаф тряпками, но это черт знает что.

Оказывается, на улице дождь — летний, августовский. Спешим в хозслужбу. Ведь с утра же посылалась бригада промазать швы на крыше.

И снова, снова — дьявольское, изнурительное кружение по цеху. Какой-то бесконечный комариный налет дел, встреч, разговоров.

— Увольняется рабочий.

— Забило стружкой транспортер.

— Ремонтники требуют отгула.

— Снабженцы доставили не ту сталь.

Кажется, конца-края этому нет, словно волной накрывает, так что воздуху не успеваешь глотнуть.

А в пятом часу в пролете крупных штампов раздался скрежет. Ползун пресса, на котором штамповались лонжероны, опустился в последний раз, и бригада тихонько отошла в сторону.

Митя, выхватив у бригадира рукавицы, вихрем — наверх. Покопался там несколько минут, медленно спустился, отдал рукавицы и впервые за весь день попросил у меня сигарету.

— Эй, не кури, Дмитрий Николаевич, — сказал, подходя, пожилой диспетчер. — С твоей работой курить — совсем загнешься.

— Что будем делать? Шестерни полетели.

Через несколько минут у пресса все руководство корпуса. Тут ЧП уже не только цехового масштаба. Если через два часа штамповка лонжеронов не начнется, завтра встанет кузовной конвейер, а там маячит простой цеха окраски, и дальше, дальше словно по цепочке пойдет замирание производства вплоть до главного конвейера. Но

об этом в толпе людей, собравшихся у большого пресса, не говорят. Все и так всё понимают. Говорят о том, какое решение принять.

Немедленный ремонт? Это в лучшем случае потеря часа, а в худшем — трех-четырех. Переставить штамп лонжерона на другой пресс, работающий на задел? Не хотелось бы сбивать уже установившийся ритм, да и перестановка штампа — тоже два часа. Правда, тут уж верных два часа. Риска меньше, чем в первом случае. Рисковать с тем, чтобы обернуться всего за час. Или уж без всякого риска потерять сразу два — решать Мите. Решил не рисковать. Вызвал наладчиков.

А еще через двадцать минут замерла целая цепочка прессов, штампующих крышу кузова — на одном из них полетел подшипник. И сразу же взлетела в воздух и поплыла над головами подцепленная краном огромная металлическая стремянка. Опустилась точно у пресса, и вскарабкались по ней двое черномазых, как из преисподней, ремонтников. Орудя тяжелыми ключами, открыли массивную зеленую крышку с выпуклыми латинскими буквами — «Kliring».

Еще утром Митя говорил, пожимая плечами: «День как день, все как обычно»... А сейчас сам сказал, тяжело проведя ладонью по лбу: «Пожалуй, в недобрый час ты попал. Что-то очень уж горячо сегодня».

— Знаю, знаю, — скажет он мне вечером с горестной иронией, — каким должен быть в твоём представлении мой день. Знаю, что должен сидеть за столом, а не бегать по участкам, заниматься перспективой, а не графиком, работать с людьми, а не с прессами. Для оборудования — механик, за графиком следит диспетчер, а моя забота — перспектива, кадры. Всё знаю, и может, так и будет когда-нибудь. А пока — прессы старые, изношенные до предела, едва успеваем ремонтировать, загружаем-то их под самую завязку и еще выше. Программа в этом году выросла на двенадцать процентов при тех же возможностях производства. Вот и поуправляй тут по науке. Тысяча двести человек у меня. Это ж и не цех, а завод, и завод, который все время лихорадит...

В девятом часу вечера он сидит в кабинете в позе тяжело уставшего человека, навалившись грудью на стол, спортивная куртка распахнута. Сидит, опустив коротко стриженную голову, вытянув пожелтевшие руки с обручальным кольцом на левой. Он курит вторую за день сигарету, и мы вдвоем осмысливаем прожитый день.

Да, беды цеховые очевидны даже для меня — огромный, на двенадцать процентов рост программы при старом, до предела изношенном оборудовании.

— Неужели плановый отдел не понимает, на какую жизнь он обрекает тебя, давая такой план? В конце концов, ты мог бы поговорить с Иваном, все же друзья детства.

— При чем здесь Иван? Он всего лишь зам. Начальник же, как тебе известно, Матвей Колбасов.

Колбасов был старый, сталинской выучки экономист, искушенный во всех хитростях формирования плана и имеющий надежные выходы на министерство. Наш дружок Ванька Жирный (впрочем, никто его давно так не называл, только мы с Митей помнили это его детское прозвище) проходил у него хорошую школу, готовясь после, как говорили, скорого ухода Колбасова на пенсию занять его место.

— При чем тут Иван, — повторил Митя. — Наши цеховые двенадцать процентов взялись из-за того, что в Ижевске на заводе-филиале должны были уже освоить прессовое производство, да вот не освоили, дело для них новое, а продукция запланирована, брать ее неоткуда, и в результате у меня такая большая прибавка к плану.

Ситуация складывалась классическая, кричи не кричи, доказывай не доказывай, что не должен ты за чужие грехи расплачиваться, что у тебя резервов не осталось, а никуда не денешься — дашь эти двенадцать процентов, иначе расстанешься с должностью. Бейся, мечись, ругайся, а план дай — первая производственная заповедь, которая на заводе усвоена давным-давно.

— Что же дальше? — спрашиваю я. — Чего ждать в будущем? Не вечно же в этой авральной круговерти жить, так ведь и до инфаркта недалеко.

— Да ведь я знал, на что шел, — устало отвечает он.

Лицо его тускнело, голос слабел. Видно, усталость наваливалась на него тяжким грузом. Не до меня ему было, не до моих «детских» вопросов. Ему предстояло еще идти вниз, в пролеты

Нет, не заглядывали мы в тот вечер в дальние дали. Рокот цеха, сотрясавший нашу комнату, сломанный пресс, ждущий его там, внизу, словно держали наш разговор на привязи. И потому не гадали мы о тех временах, когда исчезнет это постоянное физическое и нервное напряжение, эта сумрачная цеховая теснота и будет светло, спокойно и радостно. Да и будет ли?

Я понимал, что производство уже выварило его в семи водах со щелоком, приучило не бунтовать, не возмущаться, а смотреть на вещи трезво, не переоценивать свои силы, не отрицать и не ломать все, что было до него.

— Понимаешь, — говорил Митя в тот вечер, — легко предложить позитивную программу, но куда как трудно осуществить ее в реальных условиях. Каждый студент-автостроитель может спроектировать автомобиль. И конструкция будет современной, смелой. Только попробуй освоить производство такой машины на обычном автозаводе с обычными затратами, при существующих технологиях. Требовать, чтобы мне дали новое оборудование, научно-обоснованный план, в достатке людей, попросторнее помещения... Только кто даст? Директор? Министр? Никто ничего не даст, надо работать с тем, что есть. Работать в существующих условиях, с этими людьми, кстати, очень неплохими людьми. Надо в реальной ситуации сделать все, что можно, не прожектерствуя, не фантазируя. Ты можешь обвинить меня в конформизме, в примирении с этой невозможной действительностью. Но в противном случае надо уходить с завода, а я хочу делать реальное дело.

Мы расставались поздно. Работала уже ночная смена. И ритм цеховой жизни был ночной, более ровный, чем днем. В пролетах стало просторнее и словно бы меньше людей. Я пошел на выход, а он — к сломанному прессу, на верху которого возились ремонтники. Митя вскарабкался туда же, и долго еще в тусклом свете ночного пролета маячила мне его фигура над маховиком замершего пресса.

*(Окончание в следующем номере)*